

Помни час смертный¹

Скажу сразу совершенно определенно: никого невозможно подготовить к чему-то, чего не испытал сам, и, таким образом, когда говоришь о приготовлении неизлечимых пациентов к смерти, речь идет о неосуществимом. Мы не можем подготовить людей к событию, о котором ничего не знаем лично. Поэтому перед нами стоит вовсе не задача подготовить людей к смерти, а подготовить их к жизни вечной, если вы верующий, или к противостоянию неизбежному и окончательному, каково бы оно ни было, если вы сами неверующий. И ваше отношение к смерти очень важно. Помню, когда я впервые около тридцати лет назад делал сообщение на эту тему, священник подскочил, когда я сказал: «Я собираюсь говорить о том, как *нам всем* нужно готовиться к смерти, поскольку смерть — это неоспоримая реальность нашей жизни».

Позвольте мне сказать несколько слов о смерти как таковой. Существует древнее христианское изречение, что мы должны помнить, не забывая о смерти. Когда говоришь это современному человеку, реакция обычно следующая: «О, как можно! Ты что, собираешься разрушить всю радость жизни, бросить тень на все, что прекрасно, полно смысла, все, что представляет жизнь во всем ее преизбытке, постоянно напоминая нам: 'Да, но ты умрешь, это закончится'?» Не это имели в виду древние писатели. Они хотели сказать, мне кажется, о том, что я очень остро пережил во время войны, в те пять лет, что я занимался военной хирургией. А именно: если ты не способен смотреть в лицо смерти, ты не можешь в полной мере смотреть в лицо жизни. Если ты не готов за свои убеждения или ради жизни другого человека на все, вплоть до потери своей жизни, ты всегда будешь жить осторожно, с оглядкой, избегая опасности, и никогда не будешь жить полнокровно, со всей глубиной и энергией, на которую способен.

Французский писатель Рабле в одном из своих писем написал: «Я готов отстаивать свои убеждения до самой смерти, *исключительно*». Что ж, так поступает большинство. Скажем, так поступает большинство из нас. Но это значит, что, когда перед нами встает предельное испытание, мы отступаем, мы не готовы идти на предельный риск. И в этом смысле неминуемая уверенность в смерти, возможность смерти для нас — это своего рода пробный камень для наших убеждений, наших чувств. Я люблю этого человека. Готов ли я рисковать моей жизнью ради его или ее жизни, ради его или ее свободы? Или я готов говорить об этом, пока нет опасности, и отступаю, когда опасность становится слишком велика?

Помню еще, как кто-то сказал: «Как чудесно слышать так много проповедей о мученичестве в наших храмах. Это значит, что в наши дни нет риска мученичества, потому что никто не говорит о нем, когда оно

¹ Лекция на заседании Лондонской медицинской группы, 4 апреля 1987 г. Пер. с англ. Анны Мартыновой под ред. Е.Л. Майданович.

неминуемо, когда оно реально, когда оно здесь. Человек либо встречает мученичество, либо бежит от него, человек не говорит о нем».

Вот первое, что я хотел сказать о смерти. Противостояние смерти позволяет нам оценить качество нашей жизни: готовы ли мы встретить жизнь лицом к лицу, со всеми ее трагедиями, страданием и опасностью. Другая сторона этого размышления о смерти, возможно, становится всё важнее с каждым днём. Мы живём так, будто будем жить вечно и никогда не умрем. И мы живём, как будто пишем своего рода черновик нашей жизни, который однажды мы неторопливо сможем облечь в окончательную форму и сделать пригодным к обнародованию, сделать совершенным. Мы живём с представлением, будто впереди есть ещё время, а затем приходит момент, когда времени уже не осталось, и наша жизнь оказывается неполной, несовершенной, поскольку мы никогда не посмотрели в лицо факту, что в нашей власти только настоящий момент, а не следующий. А что касается наших взаимоотношений: можете ли вы представить себе, насколько глубоки они были бы, если бы мы осознавали, что либо я, либо человек, который со мною, любой из нас может умереть через несколько минут. Тогда мы делали бы все возможное ради того, чтобы каждое слово, каждое действие, каждый жест были настолько совершенными, насколько это возможно, были воплощением всего нашего благоговения перед человеком, всего нашего уважения к истине, выражением самой совершенной любви, какая только может быть. И это относилось бы не только к тому, что можно назвать великим, за что мы могли бы отдать свою жизнь, но даже мелкие дела мы совершали бы так, чтобы в них отражалась вся красота взаимоотношений.

Я немного скажу о личном. Моя мать умерла от рака после нескольких лет болезни. Она умерла дома, она знала, что умирает, потому что я сказал ей об этом. Смерть вошла в наши взаимоотношения, она присутствовала, и не было момента, в который моя мать или я могли уйти от знания, что смерть среди нас. Я не притворялся, и мама не притворялась. Ни она, ни я не были пленниками лжи. Но в результате мы оба обнаружили: благодаря тому, что мы знали, что смерть может прийти в любой момент самым неожиданным и внезапным образом — сердце могло не выдержать или по любой другой причине — каждое действие, каждое слово становилось совершенным выражением долгих лет взаимной любви и трепетного уважения. И это относилось не только к наиболее значительным вещам, но и к простым, к тому, например, как я приготавливал поднос с чашкой чая и приносил его. Он должен был быть красивым, чтобы его красота, его гармония могли быть выражением всей той любви, которую я мог вложить в мелочи. То, как я помогал ей удобнее устроить подушки под спину, сам жест, участие, тот факт, что я помнил об этом, — все это становилось, насколько это было возможно, совершенным выражением многих лет взаимоотношений любви. И она обращалась со мной так же, зная, что каждое слово, каждый жест может стать последним, и потому они должны быть столь прекрасными, насколько мы сумеем их сделать такими.

Если бы мы могли помнить, — о, не так трагично, как в этой ситуации, но храня в глубине сознания ощущение что то, что я собираюсь сказать или сделать сейчас, каким я сейчас буду может оказаться последней и наивысшей точкой или моим провалом, может быть блистательным концом или катастрофой — как бы мы вели себя по отношению друг к другу!? Не существовало бы поверхностных, неглубоких взаимоотношений, не было бы дешевых или преходящих взаимоотношений, а существовали бы только окончательные вещи. Есть русская поговорка, что встречаются раз и навсегда. Вот чему может научить нас смерть.

И я вспоминаю детский рассказ, в котором ставятся три вопроса: какой самый важный момент в жизни? Какой самый важный человек в нашей жизни? Какое самое важное дело в нашей жизни?.. История разворачивается подобно всем детским сказкам, но ответ таков: самый важный человек на земле тот, с которым я сейчас, потому что других людей не существует; самый важный момент в жизни — настоящий момент, потому что нет никакого другого момента, над которым я властен: прошлое ушло, будущее еще не наступило; а самое важное дело в жизни — в этот момент поступить правильно по отношению к этому человеку. Это рождается из того чувства, что смерть может прийти в любую минуту и оказаться либо исполнением, либо катастрофой. И я думаю, важно для нас, будь мы молоды или стары, пока мы живы, в добром здравии и владеем всеми нашими способностями, научиться смотреть в лицо жизни вместе с ее предельными вызовами и встречать каждого человека, каждое мгновение именно так.

Я узнал нечто о настоящем моменте очень интересным, возможно, даже занятным образом. Я был во французском Сопротивлении во время немецкой оккупации, и меня арестовали в метро. Когда я спустился, милейший человек положил мне руку на плечо и сказал: «Вы арестованы». В этот момент я открыл для себя ряд вещей. Я обнаружил, что у меня нет прошлого, потому что мое реальное прошлое я никогда не раскрою, поскольку оно затрагивает судьбы всех людей, связанных со мною, а несуществующее прошлое, о котором я расскажу ему, никогда не существовало. Таким образом, прошлого у меня не было. Я почувствовал себя, как ящерица, которая потеряла свой хвост и заканчивается там, где начало хвоста. А затем я открыл для себя еще одно: у меня также не было и будущего, потому что мы осознаем наличие будущего, постольку постольку можем предвидеть, что случится хотя бы в ближайшие две, одну, три минуты. Здесь же я не мог предвидеть ничего. Я знал, что арестован, я совершенно не знал, что случится дальше. И я обнаружил, что настоящий момент, мгновение ока, непосредственность этого настоящего момента подобна неделимому атому, она содержала все мое прошлое, все, что я есть, чем я был и чем я предположительно мог быть; и, как вы можете видеть, я не был ни расстрелян, ни отправлен в концентрационный лагерь. Я спасся по довольно нелепым причинам, но это другая история.

И это осознание настоящего момента мы должны в себе развивать, должны ему учиться. Разумеется, мы не можем думать при встрече с каждым

своим другом: «Он может умереть, я могу умереть, дай-ка, я установлю совершенные взаимоотношения». Это будет, в самом деле, не только мрачно, но и нелепо, настолько нелепо, что все будут смеяться. Но мы можем научиться осознать, что настоящий момент — единственное, что мне доступно. Как я могу использовать его в совершенстве? А совершенство подразумевает многое. Оно означает совершенство в деле, совершенство в том, чтобы быть самим собой, совершенство в правде, в любви, но все это должно быть совершенным. Это должно быть достойно всей моей жизни, никак не меньше.

Здесь, в Англии, отношение к смерти очень удивляет русского человека вроде меня. Оно несколько улучшилось, осмелюсь сказать, не сильно, но стало, скажем, менее ужасным. И когда я впервые с ним встретился, я был поражен. У меня создалось впечатление, что для доброго британца умереть было чем-то совершенно непристойным, что людям не следует так поступать со своими друзьями и родственниками, и, если они падут настолько низко, чтобы покинуть этот мир, они будут скрыты в своей комнате, пока похоронное бюро не вывезет их на место упокоения и не освободит семью от их присутствия, потому что по отношению к своим родным человек не должен совершать такую непристойную вещь как умереть.

Я помню, как впервые столкнулся с этим отношением к смерти. Я проповедовал в Кембридже в университетской церкви, а потом университетский капеллан сказал мне: «Знаете, я священник уже тридцать лет, но никогда не видел мертвого тела и не присутствовал при умирании человека». Я был поражен, потому что сам видел более чем достаточно умирающих и мертвых. И я сказал: «Каким образом?» «Ну, — ответил он, — видите ли, когда кто-то из моих прихожан болен, до тех пор, пока я могу ему помочь, я посещаю его. Когда он впадает в беспамятство, и я не могу достучаться до него, я предоставляю действовать доктору, сиделке, родственникам, друзьям; ведь сам я ничего не могу сделать. А затем, — продолжал он, — когда он умирает, нет смысла идти смотреть на мертвеца, я беседую с семьей, понесшей тяжкую утрату: «Я Воскресение и Жизнь» и тому подобное. А затем я встречаю гроб в церкви».

Меня это глубоко поразило и напомнило мне, вернее, я напомнил ему о том, что сам испытал во время войны. В наш госпиталь принесли немецкого солдата с поля боя, через несколько часов он впал в беспамятство, и молодой пресвитерианский пастор француз, который заботился о нем, вышел (он был очень молод, слегка за двадцать), по лицу его струились слезы, и он сказал мне: «Какой ужас! Этот человек не умер, он еще жив, и я ничего не могу сделать для него, потому что он не может ответить на мои слова и, возможно, даже не слышит, что я говорю». Мне также было тогда около двадцати пяти лет, и я сказал довольно резко: «Не дури, иди обратно к постели этого человека, возьми Новый Завет и читай ему его по-немецки, начиная с воскрешения Лазаря; читай и читай, делай паузы, чтобы вы оба отдохнули, и вновь читай». Этот молодой человек делал так в течение двух с половиной дней или около того; а затем, за несколько часов до смерти этот немецкий

солдат открыл глаза и сказал мне: «Это было так чудесно. Я не мог подать признаков жизни, но каждое слово достигало меня и давало новую жизнь».

Так что мы должны осознавать, будь мы священниками, врачами или медсестрами, или родственниками, или друзьями человека, который умирает, сознание которого слабеет, который, возможно, не способен общаться с нами обычным образом, — мы должны сознавать, что может существовать уровень сознания, лежащий далеко за пределами того, что мы можем себе представить. И даже когда сознание, которое мы можем пробудить словами, ушло, существуют иные способы общения.

Я помню молодого солдата, который был ранен на востоке Франции и умирал. Вечером я подошел к его постели, и он сказал мне: «Я умру этой ночью». Я спросил: «Ты боишься умирать?» Он ответил: «Я не боюсь умирать. Мне грустно расставаться с женой, с детьми, с жизнью, какой я знаю ее; но я боюсь умирать в одиночестве». Я сказал: «Ты не умрешь один, я останусь с тобой». Он возразил: «Вы не можете оставаться здесь всю ночь». — «Могу». И тогда он сказал: «Наступит момент, когда я не буду осознавать, что вы здесь». Я сказал: «Нет, не наступит. Мы будем разговаривать. Когда ты устанешь, мы будем молчать, и я буду держать твою руку. Ты будешь то засыпать, то просыпаться, открывать глаза и видеть, что я здесь. Возможно, мы обменяемся парой слов, затем ты слишком ослабеешь для этого, но сможешь время от времени сжимать мою руку и продолжать осознавать, что я здесь. А затем, когда придет время, я уже буду не нужен». И я помню, как прошла ночь и наступило утро; поначалу мы говорили, потом молчали, он смотрел на меня время от времени, когда просыпался, потом иногда сжимал мою руку, потом его рука похолодела, и он отпустил меня. Он умер, но он не был одинок ни одно мгновение. Пока он был способен воспринимать что-то на этой земле, он мог ощущать присутствие человека, кого-то, кто душой, сердцем и телом был здесь.

Это то, что мы можем сделать для умирающих. Мы можем делать это при любых обстоятельствах. Я пять лет работал в больнице, пять лет провел на войне, поэтому говорю не о невозможном. Это возможно, не всегда возможно какому-то конкретному человеку, но всегда есть кто-то, кто может это делать, и это очень важно.

Существует еще одна вещь, связанная со смертью, которую я считаю очень важной. Не надо прививать детям нездоровые взгляды и реакции взрослых. Я помню смерть в одном из университетских городов. Безгранично любимая бабушка, прикованная к постели и сильно страдавшая, умерла после нескольких лет болезни. Когда я приехал, я нашел там сына, невестку, но не увидел в доме никого из детей. Я спросил: «Где же дети?» «О, мы отослали их». «Почему?» «Нельзя позволить им оставаться в доме, когда здесь покойница». «А почему нет?» — сказал я. «Но они знают, что такое смерть! Это ужасно». Я был очень заинтересован, потому что подумал, что ребенок семи лет и ребенок девяти лет, знавшие, что такое смерть, знают много больше, чем я, и потому спросил: «А что они знают о смерти, что для них смерть?» «Ну, они знают, что такое смерть. На днях они нашли в саду

крольчонка, разодранного кошками». И тогда я очень по-русски отреагировал негодованием. Я разнес их в пух и прах и сказал: «Вы что, действительно хотите, чтобы, когда они будут на похоронах, они представляли...» — «О, но они, разумеется, не пойдут на похороны!» «... или, когда однажды они подумают о своей бабушке на кладбище, они представят себе образ этой любимой бабушки в форме кролика, разодранного кошкой?» «Нет, но как нам быть?» Я сказал: «Приведите их назад и пусть они пойдут и посмотрят на свою бабушку». «Они будут травмированы на всю оставшуюся жизнь». Я сказал: «Это будет на моей ответственности». «У них будет нервный срыв». Я сказал: «Нет, они станут здоровее психически, нежели вы, вот и все». И детей привели.

Я объяснил им, что бабушка умерла, что они и так прекрасно понимали по суровой тишине и по тому, как их вытолкали и не позволили попрощаться с бабулей перед прогулкой и визитом к друзьям. И один из детей сказал: «Но что это такое? Что значит умереть?» И я ответил: «Разве бабушка не говорила много раз: “Я бы так хотела поскорее умереть и снова быть с моим мужем, который умер раньше меня, и со всеми теми, кого я любила, и кто ушел из этой жизни”?» «Да». «Вот это и произошло». «Значит, теперь она счастлива?» Я сказал: «Да». «Можно нам увидеть ее?» И это был пробный камень — что же они увидят? Мы вошли в комнату, увидели бабушку, лицо которой было мирным, потому что страдание ушло. Она лежала на своей постели, и один из детей сказал: «Так это и есть смерть». И другой сказал: «Как красиво!»

Не кажется ли вам, что это лучшее начало для человека, вступающего в жизнь, чем представление о крольчонке, разорванном кошками, или просто о чем-то неизвестном? «Бабушка умерла, не входите в ее комнату». «Почему?» «Нет, вам не следует ее видеть». И ребенок или подросток сразу же думает: «Это, должно быть, так ужасно, если мне не разрешают даже взглянуть на ее лицо». А потом они видят гроб, и все, что они могут себе представить — живого человека (потому что они не видели умершего), замурованного в этом гробу, который опустят в землю, задыхающегося, в отчаянии рвущегося на свободу, на воздух. Это вид патологии, который взрослые прививают детям. Дети намного нормальнее нас.

Я знаю это из опыта русской Церкви, православной Церкви в целом. Мы всегда совершаем отпевание при открытом гробе, так, чтобы каждый мог подойти и сказать последнее ‘прости’, поцеловать ушедшего человека. Я служу священником в Лондоне уже почти сорок лет, я видел множество людей на похоронах и много детей. Единственное, чего ни в коем случае нельзя забыть, это предупредить ребенка: «Если ты поцелуешь его или ее, не бойся, что тело будет холодным, потому что тепло — это признак жизни, холод — признак смерти». Потому что, если вы не скажете этого, а они, ожидая тепла от человека, которого знали, внезапно почувствуют ледяной холод смерти, то заплачут в страхе и ужасе. В противном же случае этого не будет, они посмотрят и увидят ясную безмятежность, мир и красоту, которая осталась.

Поэтому я считаю, что мы можем подготовить людей к их собственной смерти, если начнем это делать достаточно рано. В случае детей, их надо научить видеть в смерти часть процесса жизни в целом, а не страх, не ужас, не что-то пугающее и уродливое, а нечто, несущее в себе величие.

Один из способов научить этому детей — давать им возможность, позволять им видеть умерших, принимать участие в тех событиях, которые являются действиями любви по отношению к ушедшему человеку. В разном возрасте мы познаём смерть по-разному. Ребенок может узнать об умирании, о том, каково это — быть убитым, быть мертвым, через те игры, в которые играли люди моего поколения. Насколько знаю, сейчас это считается дурным воспитанием, но я так не думаю. Вы, наверное, знаете игру, где есть два лагеря. Грабителей преследует, скажем, конная полиция, и, когда один из полицейских догоняет кого-то из мальчишек, он касается его плеча и говорит: «Ты мертв». И тот падает замертво. Это чрезвычайно поучительная вещь. Я неоднократно наблюдал это в лагерях для мальчиков. Он падает, а воображение ребенка очень живое и образное, он знает, что его убили, он мертв. В то же самое время он это знает изнутри, будучи живым, поэтому он не боится, но знает, что мертв, и будет лежать так некоторое время, а затем обратится к своему противнику: «Я уже достаточно долго был мертвым, теперь твоя очередь; пиф-паф!» И умирать приходится другому.

Это звучит совершенно абсурдно, но я помню маленького мальчика восьми-девяти лет, который должен был играть в такую игру, но страшно испугался, он спрятался за куст. Его воображение было настолько живым, а эмоции столь сильными, что он просто не мог покинуть свое укрытие. И я сказал ему: «Давай будем играть вместе. Мы выйдем отсюда и будем делать все, что положено по правилам игры». «Но я не хочу быть убитым!» «Ты не будешь, я буду убит вместо тебя». И вот мы начали играть. И он играл энергично и храбро, а потом, когда случился пиф-паф, я упал замертво, а он стоял надо мной, понимая, что каким-то опосредованным образом я умер, а на самом деле мертв был он, но в этом не было опасности, это было так чудесно. Если вы хотите проявить набожность, можете перенести этот образ на Христа, умирающего за человечество или за каждого из нас. Но я говорю о вещах гораздо более простых и прямых.

Когда мы становимся старше, в экстремальных ситуациях мы можем встретиться лицом к лицу со смертью совершенно иначе. Страх может быть преодолен силой сострадания или ужасом происходящего. Я помню одну из своих учениц, когда в течение года преподавал в Русской гимназии во Франции. Она была самой обыкновенной девочкой, милой, умненькой, но в ней не было ничего особенно впечатляющего. А потом во время одного из налетов в Париже бомба упала на дом, где они жили. Все спаслись, все стояли снаружи, пересчитали друг друга и заметили, что одна пожилая женщина не вышла из дома. Дом был весь в огне, и девочка просто вошла внутрь, чтобы спасти эту женщину, и уже не вернулась назад. Чувство сострадания, говорившее, что этой старушке нельзя было просто позволить умереть, заставило ее забыть опасность, которую это представляло для нее

самой, и она просто вошла внутрь. Очень часто мы можем лицом к лицу встретить смерть, свою или других людей, если в нас живут побуждения достаточно сильные, достаточно благородные, достаточно великие, достойные нашего человеческого звания, вместо того, чтобы пасть ниже того, кто мы есть.

Когда мы стареем, проблема становится немного иной. Я не могу сказать, что это мой личный опыт, хотя я и достаточно стар, но я заметил, что пожилого человека или безнадежно больного более всего пугает то, что они ощущают присутствие смерти задолго до того, как она наступает. Мы ощущаем, как наше тело постепенно распадается, разрушается, например, память слабеет, разум не имеет былой ясности, эмоции менее яркие, физически человек становится все менее сильным. Пожилые люди и безнадежные больные очень часто чувствуют, что смерть действует внутри них, что смерть постепенно побеждает и что конечным результатом будет полный распад и разрушение той целостности, которая бывает так прекрасна, и все это может вызвать страх.

Судя по моей одежде, вы легко поймете, что я верю в Бога и верю в жизнь вечную, и вот с этой позиции мы кое-что можем сделать. Я вначале сказал, что мы не можем никого подготовить к смерти, потому что не знаем точно, каково это; мы можем подготовить человека к жизни вечной, помочь человеку воспринять жизнь вечную. Я не имею в виду поверить в нее, то есть поверить нам на слово; и я закончу примером, потому что чувствую, что уже слишком долго испытываю ваше терпение.

Пример таков. Некоторое количество лет назад наш прихожанин, который был моим личным другом, попал в больницу с желтухой. Его обследовали и обнаружили, что у него рак, который распространился на весь организм, и уже не стоял вопрос ни об операции, ни о том, что для него вообще что-то можно сделать. И вот, он лежал в своей постели, его сестре и мне всё сообщили, и, когда я пришел, он сказал мне: «Вот досада, мне нужно столько всего сделать в жизни, и вот я — лежу, прикованный к постели». Я ответил: «Знаете, вы много раз говорили мне: «как бы я хотел остановить время и вместо того, чтобы делать, делать, делать, мог бы просто *быть*». Это ваш шанс», — сказал я. Он посмотрел на меня и сказал: «Да, но как это делается?» Потому что пожелать *быть* — это так просто, но мы, как правило, этого не умеем. Я сказал: «Знаете, болезнь, смерть зависят не только от физических условий — рака, микробов, несчастного случая; они также очень сильно зависят от вашего психического состояния. Внутри вашего сознания существуют вещи, разрушительные для здоровья и для сопротивляемости умиранию и разложению: обида, озлобленность, зависть» (даже с моим скудным английским словарным запасом я могу продолжить длинный список ужасов). И я сказал: «Попытайтесь от них избавиться. Вы ничего не можете сделать для своего тела, доктора позаботятся об этом, но избавьтесь от того, что можете сделать сами». И мы начали постепенно проходить через процесс длинной, мне кажется, месяца в три, слой за слоем.

Мы начали с его нынешнего состояния, с его отношения к себе, к сестре, его взаимоотношений, его воспоминаний, и он примирился со всем этим. Затем мы погружались все глубже, глубже, глубже в его прошлое, а его прошлое было чрезвычайно трудным. И я помню, что постепенно он примирился со всем, что составляло его жизнь — с самим собой, с людьми, которые были с ним жестоки, с обстоятельствами, которые были трудны или невыносимы. И за несколько дней до смерти он лежал в своей постели, поддерживаемый подушками, такой слабый, что не мог сам есть, и, глядя на меня огромными глазами, сказал: «Знаете, мое тело уже почти мертво, однако я никогда еще не ощущал себя столь остро живым как сейчас». Поскольку все, что было разрушительного в его духе, в его душе, его разуме, его эмоциях, ушло. То, что осталось, и было «Я», личность, которая, разумеется, в том, что касалось его земной жизни, зависела от состояния его тела, но в том, что касалось способности быть собой, быть тем, кем он хотел быть и никогда не был, от этого не зависела. И мне кажется, что именно это мы можем сделать для людей, но не при помощи длинной беседы, как это сделал я, но помогая людям даже без таких подробных объяснений преодолеть все негативные чувства, всё, что в них есть разрушительного так, чтобы они пробудились к осознанию: ничто не может меня разрушить, я жив и ничто не может забрать эту жизнь у меня.

На этом я окончу свою беседу и, как я понимаю, у нас есть еще полчаса. Я закрою глаза, чтобы те из вас, кто хочет сбежать до того, как мы перейдем к вопросам и ответам, сбежали, но те, кто останутся, могут свободно задавать вопросы или, разумеется, поспорить с тем, о чем я говорил.

Ответы на вопросы

Нужно ли человеку до последнего бороться за свою жизнь или наступает момент, когда можно желать для себя смерти?

Нам порой кажется, что у нас есть право сказать: «Я устал от жизни и я выбираю смерть». Мы не знаем, что может произойти в нас и привести нас к такой зрелости, какой у нас не было или нет в данный момент. Страдание, встреча со смертью, расставание с людьми, которых мы любим, встреча с болью, встреча со всей многосложностью человеческой души — всего этого мы не можем предвидеть. С другой стороны, меня до глубины души поражает то, что умирающие старики очень часто говорят: «Я бы хотел умереть и не быть обузой тем, кто меня окружает». И я всегда с искренней убежденностью говорил им, что они неправы, что они недооценивают любовь окружающих к ним, что присутствие их даже умирающих много значит для тех, кто вокруг, а также, что их беспомощность, возможно, впервые дает их детям, их супругам, их друзьям возможность выразить всю свою любовь, всё уважение к ним.

Я могу привести вам пример совсем не трагичный. Моя бабушка умерла, когда ей было девяносто пять лет. В последние годы жизни она была не так деятельна, как раньше. Помню, однажды я сидел в своей комнате, а бабушка мыла посуду на кухне, затем я услышал невероятный грохот разбивающейся посуды, и вошла бабушка, маленькая, очень бледная и очень серьезная старушка, и сказала: «Я не могу понять, почему Господь держит меня на земле. Я даже посуду не могу помыть, как следует». Я ей ответил: «Я могу привести тебе две причины». — «И какие же?» Я сказал: «Первая та, что на том свете, должно быть, столько старушек, что Он не может Себе позволить еще одну». Она строго посмотрела и сказала: «Ты все шутишь, а я серьезно». Я сказал: «Да, а теперь вторая причина: с самого начала мира и до самого его конца, в прошлом, в будущем, в настоящем ты одна смогла сделать то, чего не смог никто на земле». Она наострила уши, посмотрела на меня с интересом и сказала: «И что же это?» — «Никто никогда не был, не будет и не может быть моей бабушкой». И она сказала: «О, так я уникальна и могу делать что-то, чего не может никто на земле».

С другой стороны, если говорить, например, об аппаратах, поддерживающих жизнь, я считаю, что не следует принуждать человека оставаться в живых искусственно, против природы, как происходит в случае, когда природа не может поддерживать жизнь и создается искусственное её подобие. Я вспоминаю опять-таки человека, который попал в автокатастрофу и был без сознания четыре года, абсолютно без сознания, не реагируя ни на что, но будучи принуждаем жить пока, наконец, природа не взяла верх над докторами. И я думаю, было бы человечнее дать природе шанс действовать свободно. Но это моя личная реакция на ситуацию.

Значит ли это, что вы против вмешательства врачей и искусственного продления жизни умирающего?

Я бы подвел черту под тем, что говорил минуту назад, о том, что, когда от человека не осталось ничего, кроме искусственной жизни, которая навязывается ему или ей, мы не помогаем природе, мы используем человеческое тело, мы не знаем ничего о том, что происходит с душой, мы используем человеческое тело как марионетку, и я не считаю, что это достаточно уважительно, почтительно в отношении этого человека. В иных случаях, безусловно, необходимо оперировать опухоли, необходимо оперировать при аппендиците, необходимо лечить пневмонию и так далее. Но, когда мы делаем это, мы помогаем природе в борьбе, тогда как в случае, упомянутом мною ранее, мы помогаем в борьбе вовсе не природе, природа жаждет покоя и отдыха, а мы насилуем ее.

Я помню книгу Акселя Мунте под названием «Легенда о Сан-Микеле» (не думаю, что вы такое читаете, но в мою бытность студентом-медиком ее многие читали)². Я работал в той же больнице, где работал он за много лет до

² Аксель Мунте. Легенда о Сан-Микеле. Записки врача и мистика. М.: Захаров, 2003.

меня, ну, не так уж много, потому что я был там в 1934 году. И я помню, что он говорит о своем опыте работы в терапевтическом отделении. Он рассказывает, что, когда он впервые попал туда, то пришел в ужас от того, что он посчитал бессердечием старых медсестер и бесчувственным отношением к жизни и смерти со стороны врачей. А потом он осознал, что пока человек мог бороться за жизнь, врачи и медсестры боролись со всеми своими знаниями, умением и страстью. Но приходил момент, когда они понимали, что все, что они могут — это оставить человека и не помогать жизни продолжать битву. И я вспоминаю фразу, сказанную пожилой медсестрой, определяющую, по мнению Мунте, отношение медсестер и врачей: «Мы сражались как два честных соперника, теперь пришла твоя очередь, делай свою работу, но делай ее с лаской». И в этот момент роль врача — помочь смерти быть ласковой, не превращать ее в последнюю мучительную схватку.

Вы говорили о том, что не надо бояться приводить детей в дом, где есть покойник. Но ведь бывают случаи, когда облик близкого для них человека смерть страшно исказила. Это же может ребенка напугать. Как быть в этом случае?

Я возражу сам себе и скажу, что, как и в каждом правиле, существуют исключения. Я бы не привел ребенка посмотреть на мать, совершенно обезображенную аварией. Говоря о жизненном правиле в целом, я бы стоял в этом вопросе на своем, но, конечно же, был бы осторожен в случаях с авариями, с болезнями, которые делают человека неузнаваемым. Я бы поступил так, чтобы дети могли посещать человека и постепенно следить за переменами, чтобы факт, что человек, который был во цвете жизни, сейчас представляет ужасающее зрелище, не стал внезапным открытием.

Суд Божий, каким его можно представить? Сможет ли человек оправдаться перед Богом, ведь каждый из нас грешен?

Это в большой степени зависит от того, что вы думаете об иной жизни. Если Бог представляется вам жестоким Судией, а сам суд видится практически как неизбежная гибель, потому что никто не сумеет оправдать ожиданий Судии, то, думаю, вам не стоит выражать свои взгляды. Скажу вам, что сам чувствую по этому поводу. Во-первых, я бы сказал, что Бог, в Которого мы верим — это Бог любви, и, когда Он видит зло в нас, Он отождествляет нас со злом не более, чем врач отождествляет пациента с болезнью. Для краткости доктор может сказать: «Это *та* пневмония или это *тот* аппендицит», но человека таким образом не определяют. И я думаю, что Бог смотрит на нас с бесконечным состраданием, как мы сами смотрим на кого-то, пораженного болезнью, или на жертву чего-либо.

У Сартра есть ужасная фраза: «Иуда не является предателем, потому что предал Христа, он предал Христа, потому что был предателем». Я считаю это одним из самых чудовищных высказываний, потому что оно

несправедливо. Оно делает Иуду *ничем, кроме* предательства, тогда как он был человеком, который предал. С другой стороны, если вы ожидаете полубогословского ответа (вижу, что здесь присутствуют священнослужители, поэтому говорю со страхом и трепетом), знаете, представление о Суде весьма обманчиво. Вы ведь знаете, что такое Суд. Существует законодательная власть, определяющая законы, есть судьи, задача которых применять законы, есть обвинение, есть защита, есть подсудимый, есть свидетели обвинения или защиты; все эти люди относительно независимы и не вторгаются в сферы остальных. Судья не создает закон, обвинитель не судит и так далее. А теперь, если вы обратитесь к образам Нового Завета, то обнаружите, что Господь — это и Законодатель, Господь одновременно и Судья, Господь — и Искупитель наших грехов, Господь наш Защитник, Господь умер во Христе за нас; какого же рода справедливости здесь можно ожидать? Можно ожидать милости, можно ожидать сострадания, можно ожидать многого, но никак не справедливости. И потому мы должны быть осторожны, перенося представления о суде, которое мы имеем в обычной жизни, на Евангелие.

Существует еще нечто, всегда вызывающее смущение (ну, меня это не смущает, я не так-то легко поддаюсь смущению), в отношении Суда: если есть ад и есть рай, а критерием вечной жизни является любовь, сколько ее было и есть в вас, то мне это представляется в виде концентрических окружностей. В центре Господь, Который есть совершенная любовь, вокруг него — великие и меньшие, а дальше — люди, имеющие в себе достаточно любви, чтобы находиться в этой области, а снаружи во тьме люди, в которых любви нет.

Любовь сродни состраданию, сердечной боли за страдания других. Чем больше в вас любви, тем больше сострадания, больше горя вы будете чувствовать при мысли о тех, кто вовне. И вот в центре находится Бог, Который будет совершенно и полностью несчастен, а затем святые, которые будут все менее и менее несчастными, по мере уменьшения в них любви. И тогда единственными, кто будет совершенно счастлив, станут те пограничные случаи, которые будут вроде тех людей, которые запрыгнули в автобус, уцепились, не будучи до конца уверены, удержатся они в нем или нет, и думают: «Я внутри, я внутри!»

Я не могу представить себе подобного рая. Точно так же я не могу себе представить мою мать, которая, уютно оглядевшись в раю и не увидев там меня, перегнется через перила, увидит меня внизу в пламени и скажет: «Ну вот. Я же тебе говорила!» Извините, это не слишком возвышенно, но именно это я хотел бы донести до людей: если мы действительно верим в Бога, Который есть любовь, то любовь мы и встретим. Я ожидаю того, что Господь встретит нас, мы скажем: «Прости меня, посмотри, как я отвратителен, покрыт язвами и в лохмотьях». И Он скажет нам: «Подойди и сядь ко Мне на колени, поплачь как следует, все пройдет». Возможно, я оптимист, но я думаю, что я богословский оптимист в том смысле, что я представляю это,

может быть, в забавном виде, но я верю, что в этом есть истина, что, если Бог — это Бог любви, то должен быть выход. Мы можем не видеть этого, но мы можем войти в вечность с надеждой, а не с чувством ужаса. Я не верю, что Суд состоит в том, чтобы быть осужденным и приговоренным. Суд состоит в том, чтобы встретиться лицом к лицу с невыразимой красотой, совершенной любовью, увидеть, насколько мы недостойны и как, несмотря на наше достоинство, мы любимы всею жизнью и смертью Сына Божьего, ставшего Сыном человеческим, и в этом наше спасение.